
III. ТИФЛИС В 30-Е ГОДЫ XIX ВЕКА

Т. Воспоминания о Кавказе и Грузии.
«Русский вестник», 1869. Т. 79. № 1–4.
Переизд.: Ф. Ф. Торнау. Воспоминания
русского офицера. М.: АИРО—XX, 2002.

Тифлиса, каков он теперь, я не знаю. В 1844 году я распростился с ним навсегда. Уже и тогда город, увеличенный порядочным числом домов европейской постройки, много утратил из оригинальности своего первобытного вида. В 1832 году Тифлис, не только по наружности, но и по характеру народной жизни, принадлежал к числу городов самородного азиатского типа, если не считать несколько зданий новой постройки и некоторые русские привычки и понятия, успевшие проникнуть в верхний слой грузинского общества. Народ оставался, чем был при царях, город только начинал менять физиономию.

От Гарцикарской заставы, далеко выдвинутой в поле в ожидании будущих построек, до первой правильной улицы, начинавшейся за домом главноуправляющего, дорога извивалась по пустому месту, мимо обрывистого возвышения направо и оврагов, с левой стороны упиравшихся в берег Куры. Овраги были испещрены мазанками и домиками Солдатской слободки. Далее открывались приезжему, с одной стороны, съезд к Мадатовской площади, с другой – подъем к арсеналу и к Артиллерийской слободке, построенным у подошвы горы Св. Давида. Большой двух-

этажный дом, снабженный рядом арок и колоннадой над ними во всю длину главного фронта, с боковым фасом, поднимавшимся в гору уступами, и обширным садом, давал начало настоящему городу. В стенах этого дома помещались все генералы, командовавшие на Кавказе, начиная с основателя его, князя Цицианова: Гудович, Тормасов, Паулучи, Ртищев, Ермолов, Паскевич, Розен, Головин, Нейдгарт, Воронцов, Реад, Муравьев, Барятинский, теперь Его Высочество Великий Князь Михаил Николаевич. Все они строили и пристраивали, меняли и охорашивали в нем так много, что и следов первой цициановской постройки нельзя приметить. Перед домом раскрывалась необстроенная площадка, на которой бывали скачки, народные праздники и фейерверки. За домом начиналась улица, выходящая на Эриванскую площадь – центр нового города; на ней красовались штаб, гимназия, полиция и домов пять новейшей архитектуры. Крутоберегая, широко размытая, водоточная рывтина прорезывала площадь во всю ее длину, от юга на север, после чего, поворотив на восток, по направлению к Куру, она пролегла вдоль подошвы старой крепостной стены, оборонявшей город с севера и с запада. С восточной стороны протекала Кура, а с юга возвышалась гора, на которой виднелись еще развалины верхней крепости, служившей цитаделью в прежние времена. Все, что лежало по сю сторону стены, было новой, русской постройки. Через площадь, в левом углу, открывалась тесная и кривая улица, носившая название Армянского базара и упиравшаяся в мост через Куру. И действительно, вся улица представляла вид нескончаемого рынка: по обе стороны сплывались одна возле другой открытые лавки, в которых, как водится на Востоке, на глазах у прохожих шили платье и сапоги, чеканили серебро, оправляли оружие, брили головы и бороды, варили плов, жарили баранину, ковали лошадей, пекли лаваша и чуреки, одним словом, занимались

всеми промыслами, без которых не обходится городская жизнь. Дома на Армянском базаре, равно как и во всех прочих улицах старого города, были прежней, восточной постройки, в один, много в два этажа, с плоскими крышами, с невообразимым количеством окон и дверей и крытыми галереями для защиты от солнца. В городе существовала только одна еврейская гостиница Соломона, под вывеской льва, терзающего змею огромной величины, с надписью: «Справедливая Россия». Все номера были заняты; поэтому нам не оставалось другого выбора, как, переехав за реку, отыскивать квартиру на Песках, у немецких колонистов.

Пять или шесть колонистских домов стояли на самом берегу реки, под Авлабарскою горой, на которой три большие казармы Ермоловской постройки господствовали над лабиринтом сакель и землянок, составлявших часть города, обитаемую рабочим народом. Немцы не содержали гостиницы, но имея дома, построенные на две половинки, в одной помещались сами, а в другую пускали наемщиков поденно и понедельно, если кому было угодно, с полным продовольствием. Комнаты были у них светлее, чище, постели несравненно опрятнее, и незатейливый обед удобосваримее, чем в «Справедливой России», пропитанной еврейским спекулятивным духом, в одинаковой мере посягавшим на обоняние и на кошелек посетителей. Соломон был человек не без хитрости, как доказывало придуманное им толкование несколько загадочного смысла вывески, под которою красовалось его заведение: лев представлял его самого, змея изображала конкурировавших с ним колонистов, а надпись «Справедливая Россия» выражала твердое убеждение в том, что русская публика, побуждаемая чувством свойственного ей беспристрастия, непременно отдаст преимущество его гостинице, устроенной на благородную ногу, перед немецкими мужицкими домами. Вполне признавая солидарность, долженствовав-

шую существовать между Соломоном и каждым русским, умевшим оценить глубокое значение подобной фирмы, я не менее того очень обрадовался, отыскав на первое время покойный и дешевый приют у колониста. Германские колонисты были вызваны в Закавказский край А. П. Ермоловым. Он поселил их в окрестностях Тифлиса, на реке Иоре, и около Елисаветполя в колониях: Александердорф, Елизабетгаль, Петерсдорф, Мариенфельд, Анненфельд, Геленендорф, и десятку семейств позволил устроить свои хозяйства на берегу Куры, возле самого города. Чтоб обеспечить свободное развитие колонизации, сверх обыкновенных податных льгот, он устранил влияние на выходцев местной администрации, допустил между ними общинное управление и главный надзор за порядком и за их безобидным существованием поручил особому происхождению. В самое короткое время трудолюбивые швабы устроили свои хозяйства примерным образом, развели сады и огороды, и в Тифлисе, где до того времени население нуждалось в самых необходимых жизненных потребностях и за те предметы, которые можно было приобрести, платило дорогие деньги армянам, овладевшим всею торговлей, — стали получать из первых рук овощи, хорошую живность, молоко, масло, сливки, кроме того, картофель и сдобный белый хлеб, о которых, до прибытия их, за Кавказом знали по одному преданию. Один из немцев, Зальцман по имени, завел в Грузии первую пивоварню, и Алексей Петрович, чтобы поднять его заведение, ввел между служащими обычай ходить к нему пить пиво, вследствие чего Зальцман сделался очень достаточным человеком. В 1832 году существовал в Тифлисе на весь город один русский булочник, не поспевавший изготовлять сколько требовалось так называемого французского хлеба. Ближайшая колония пополняла чего недоставало. Каждое утро, с рассветом,

молодые немки разносили по домам хлеба и сливки, не брезгуя заходить и к нам, холостым людям. К сожалению, а вернее сказать, к их собственному счастью, все они без исключения были так дурны, что их появление никого не вводило в соблазн. Некрасивый народный костюм, которого ни они, ни братья их не хотели покидать и в чужой стороне, увеличивал натуральную безобразность неловкого склада. Несмотря на красоту грузинок, немцы постоянно отказывались жениться на них, что, конечно, повело бы к улучшению породы, имея в примете сохранить без примеси язык, обычаи и веру, вывезенные ими из своего прежнего отечества.

Следующий день прошел в разъездах по начальству. Надо было представиться коменданту, обер-квартирмейстеру, начальнику штаба и корпусному командиру. Комендант, гусарский полковник, Ф. С. Кочетов, был мне знаком в европейской Турции, где он, будучи старшим адъютантом в дежурстве главной армии, снабжал меня курьерскою экспедицией в Варну. Добрый старик не забыл этого мимолетного свидания, за что я ему душевно был благодарен, потому что кроме него во всей Грузии не знал живой души. А как приятно встретить между совершенно чужими людьми хоть одного знакомого! Владимир Дмитриевич Вольховский соединял в своем лице две должности, начальника штаба и обер-квартирмейстера потому, что барон фон дер Ховен, получивший назначение заместить его в последнем из этих званий, еще не прибыл. Корпусом командовал барон Григорий Владимирович Розен, заменивший на Кавказе графа Паскевича-Эриванского, назначенного по окончании войны 1831 года наместником в Царство Польское.

Генерала Вольховского я застал в канцелярии генерального штаба, занимавшей длинную залу в первом этаже штабного дома, на Эриванской площади; в смежной зале помещалась чертежная; далее этих двух комнат гене-

ральный штаб не распространялся. В конце залы сидел за письменным столом сухоощавый, сутуловатый, среднего роста, черноволосый генерал, которого умные черные глаза вопросительно следили за мной, пока я к нему подходил; потом они быстро опустились: это была его всегдашняя привычка. Вольховский во всю жизнь не мог избавиться от врожденной застенчивости и резко смотрел в глаза только человеку, имевшему несчастье его рассердить.

По левую руку, вдоль стены, были расставлены писарские столы; по правую, возле окон, сидели начальники двух отделений генерального штаба и третьего инженерного отделения, входившего в состав квартирмейстерской части потому, что в то время не было еще учреждено за Кавказом особое инженерное управление. Проходя мимо среднего стола, я заметил, что сидевший за ним артиллерийский офицер при виде моем поднялся, захватив какую-то бумагу, медленно пошел за мной и остановился позади меня.

Генерал вежливо приподнялся.

– Вашему превосходительству имею честь явиться! и т. д.

В нескольких словах, тихим голосом и слегка краснея от застенчивости, Вольховский расспросил меня, где я прежде служил, какие поручения исполнял, бывал ли на съемке и занимался ли в канцелярии.

Получив отрицательный ответ на последний из своих вопросов, он пожелал узнать, где я воспитывался.

– В Царскосельском лицейском пансионе, выпущен в 1828 году.

– А! – произнес Вольховский, – так мы товарищи по заведению, хотя вы не застали нашего выпуска.

Он был выпущен вместе с Александром Пушкиным, Дельвигом, государственным канцлером, министром иностранных дел князем Горчаковым, Модестом Корфом и другими воспитанниками первого лицейского курса. Протянув мне руку, он прибавил:

– Надеюсь, мы сойдемся, и вы не откажетесь от должности, для которой я вас предназначаю, хотя ею никогда не занимались. В Царском Селе нас приготавливали к военной и к гражданской службе, поэтому вы должны уметь свободно писать по-русски...

Тут Вольховский сделал знак стоявшему за мной артиллеристу, который, улыбнувшись, с довольным видом пошел на свое место.

Несдержанное любопытство офицера, подошедшего с явным намерением подслушать, как я стану являться, потом размен взглядов между ним и начальником штаба, меня несколько смутили; я не знал, как мне понять эту сцену. В скором времени загадка объяснилась мне самым удовлетворительным образом.

На Кавказе существовал до тридцатых годов замечательный недостаток в офицерах генерального штаба, особенно в таких, которые, достаточно владея пером и русским языком, могли бы успешно заниматься письменными делами. По этой причине, с Персидской войны, вторым отделением генерального штаба заведовали артиллерийские офицеры, сперва Ушаков, исправлявший в последнюю войну должность дежурного генерала при князе М. Д. Горчакове, а потом капитан Пикалов, мой любопытный артиллерист, бывший помощником у Ушакова до отъезда его в армию, действовавшую против поляков, вслед за графом Паскевичем. Пятилетние письменные занятия утомили Пикалова, не рассчитывавшего посвятить им всю жизнь; он желал продолжать службу в строю, имея надежду в скором времени получить начальство над батареей, и поэтому настоятельно просил уволить его из корпусного штаба. Вольховский, имея две должности на руках, решительно не мог обойтись без Пикалова, убеждал его оставаться и, наконец, вынудил у него обещание не покинуть своего места, пока не будет прислан офицер, годный его заменить.

После того прибывали в Тифлис один офицер за другим, но как назло Пикалову, все нерусские, отличные служаки, способные на все, только не на письменное дело, как его понимал Вольховский. Из Петербурга получили уведомление о моем назначении. «Т..., опять немец», – подумал Пикалов, и надежда отбыть готовившуюся экспедицию возле орудия, а не за канцелярским столом, совсем было его покинула. Непреодолимое любопытство потянуло его послушать, каким произношением я заговорю, являясь начальнику штаба, когда, по семнадцатому номеру моих егерских эпюлет, ему удалось догадаться, кто я таков. После того, ближе познакомившись, он часто повторял со смехом, как при первом «имею честь», произнесенном не ломаным русским языком, у него камень свалился с плеч, а знак Вольховского так обрадовал, что он готов был обнять меня на месте...

Пикалову было приказано познакомить меня сначала с делами и потом сдать мне отделение формальным порядком. От этого зависел его отъезд в батарею, стоящую в Гамборах, пятьдесят верст от Тифлиса. Для облегчения дела Пикалов предложил мне переехать к нему на квартиру, где мы могли без потери времени работать поутру и вечером, и кроме того, для меня открывалась возможность в разговоре с ним скорее познакомиться со всеми обстоятельствами края и Кавказской войны. Охотно приняв его приглашение, я распростился с добрым колонистом и с юным спутником, Александром Лаврентьевичем, который, в свою очередь, переселился к отысканному им корпусному товарищу, служившему секретарем в гражданской канцелярии барона Розена...

Квартира Пикалова находилась на углу Армянского базара и Эриванской или, как ее чаще называли, Штабной площади, во втором этаже дома, принадлежавшего купцу армянину; входили в нее через небольшой двор, огоро-

женный каменной стеной, по которой извивались виноградные лозы. Посреди двора стояло высокое гранатовое дерево, сплошь покрытое ярко-красным цветом. Уходя и возвращаясь домой, мы каждый раз любовались роскошным деревом, но еще охотнее наши взгляды останавливались на другом, живом украшении квартиры. Хозяйка, семнадцатилетняя красавица, какие между армянками встречаются только в эти годы, сидела с раннего утра за работой на открытой галерее, под надзором свекрови, не покидавшей ее, как водилось у армян, ни на одно мгновение. Старуха была необычайно уродлива, зла, бранчлива и ревновала каждый взгляд, который мы бросали на ее невестку; даже наш обыкновенный поклон приводил ее в тревожное состояние, а если бы нам вздумалось заговорить с молодой красавицей, то это произвело бы такую бурю, что хоть из дому беги. Предпочитая домашнее согласие такому мимолетному удовольствию, мы ни в каком случае не обращались к молодой хозяйке, а если была надобность, вели через денщика переговоры со старухой, за что она нас очень жаловала, и когда мы уходили, берегла нашу квартиру не хуже своей невестки. В этом отношении она заслуживала нашу полную благодарность, потому что ни одна дверь не запиралась на замок, и в комнатах не имелось ни одного шкафа, сундука или стола с ключом, хотя давно миновало то время, в которое, несмотря на процветание грабежа, у грузин домашнее воровство слыло делом несбыточным. Две принадлежавшие нам весьма небольшие комнаты, признаться, не отличались удобством, и напрасно стали бы в них отыскивать немецкую опрятность, зато жилось как в фонаре в стенах, продырявленных несметным числом отверстий. В одной угловой комнате, имевшей два света, существовали три двери и десять окон; камин, выдавшийся полусводом за стену, скорее способствовал нагреванию улицы, чем комнатного пространства, а жильцам дымил

только в глаза. К моему счастью, я переселился к Пикалову в теплую погоду и поэтому не имел случая испытать всю привлекательность зимних выгод его жилья, бесспорно принадлежавшего к числу лучших помещений в старом городе. В летнее время зарождалась в нем другая приятность. Дом входил в категорию ветхих строений, пользующихся лестным предпочтением со стороны скорпионов. Ночью они бегали по полу, пристукивая хвостом так резко, что я иногда просыпался, а поутру, принимаясь за дело, мне случалось нередко выбрасывать их из бумаг, в которые они залегали для дневного отдыха. Долго я не мог привыкнуть к сообществу этого неблагоприятного зверька, внушавшего мне непреодолимое отвращение, усиленное еще боязнью его зловредных качеств. Пикалов, кавказский старожил, успел меня примирить, если не с наружностью, то по крайней мере с его нравом, доказав многими примерами сколько он безвреден. Скорпиону, как бывает и с людьми, составили совершенно незаслуженную репутацию злости: он жалит, повинуюсь чувству самосохранения, только в таком случае, когда сам считает себя в опасности, будучи придавлен или остановлен на бегу. Тогда он хвостом бьет через голову. В Грузии весьма не опасно для человека попасть под жало скорпиона. Ужаленное место, правда, горит и пухнет, но стоит только натереть его теплым деревянным маслом, и боль прекращается, не оставляя последствий. Народное поверье, будто для успеха операции следует употреблять масло с опущенным в него скорпионом, есть пустой предрассудок: оно помогает и без симпатической приправы.

Разделив квартиру, нам следовало разделить и расходы на наше общее продовольствие, потому что клуба, где бы можно было обедать, еще не существовало, а трактирная жизнь не имела ходу между офицерами; каждый старался, хорошо или дурно, заводить свое собственное хозяйство.

Содержание обходилось невероятно дешево. В Грузии была в то время благодать для людей небогатых. С головы по четвертаку в сутки мы жили привольнее, чем десять лет спустя можно было жить за два целковых. Фазан стоил двугривенный, за «тунгу» (пять двойных бутылок) лучшего хахетинского вина платили сорок копеек, за фунт турецкого табаку – пятнадцать копеек серебром; а плова и фруктов добывали вдоволь за несколько медных грошей. При таких обстоятельствах мне было очень выгодно поселиться у товарища, имевшего готовое хозяйство и сверх того хорошего русского повара из отцовской деревни; но лучшую пользу я извлек для себя из самого Пикалова.

Во-первых, он был человек отменной души, умен, скром и уживчив, значит, редкий комнатный товарищ; во-вторых, он узнал основательно край и людей. Так как он более пяти лет занимался в диспозиционном отделении генерального штаба, то не было дела, которое бы не проходило через его руки, и он, обладая необыкновенною памятью, служил живою справкой во всех бывалых случаях, которые твердо помнил. По этой причине Вольховский им очень дорожил и не раз упрашивал его остаться на своем месте; но он действительно не мог продолжать работы, совершенно истощившие его здоровье. Два года спустя мой бедный приятель помер на Линии от грудной болезни, развившейся после раны, которую он получил во время Ичкеринской экспедиции 1832 года...

Между делом у нас доставало еще довольно времени ходить по городу и по садам, которые в то время не надо было далеко отыскивать. Против полиции, за угловым домом, в котором два года спустя была открыта памятная всем прежним тифлисцам ресторация Матасси, начинались сады, заслонявшие все Салалакское ущелье. Посреди живой зелени их, вправо от тесной дороги, извивавшейся между каменными садовыми стенками, одиноко стоял дом

князя Бебутова, окруженный высокою оградой, с крепкими, всегда затворенными воротами, ревниво укрывавшими домашний быт жильцов от чужого любопытства. Тогда не легко было для русского проникнуть в круг грузинского, а тем более армянского семейства и сделаться у него домашним человеком, если не представлялась выгода с ним породниться. Улица, ведущая от Эриванской площади на юг к подошве горы, на которой находились развалины старой крепости, окончательно обстроилась после моего приезда; в 1832 году дома существовали только по левую руку; вся ее правая сторона, исключая угловой дом, прилежала к пространному винограднику, доходившему до самой горы. Правый берег Куры за Елизаветпольскою рогаткой представлял одну сплошную массу садов, где над тенистыми сводами широколистой лозы гранат, персик и миндаль раскидывали роскошь своей блестящей зелени, ластясь вокруг вековых, объемистых орехов и пирамидальных тополей, высоко к облакам возносивших гордые вершины. Не знаю, потому ли только, что в тогдешнее время я смотрел на предметы глазами молодости, или потому, что тифлисская природа действительно так хороша, но Тифлис посреди окружающих его гор, окаймленный садами, с его быстрой рекой, с грядой снежных вершин на дальнем горизонте, с темно-голубым небом над головой, несмотря на палящее солнце, казался мне местом, краше которого я ничего не знал да и узнать не желал. Даже те городские неудобства, которые в других возбуждали неудовольствие, имели для меня свою привлекательную сторону, обнаруживая оригинальность, доставлявшую моему любопытству всегда новую пищу.

В новом городе не существовало мостовой. Отсутствие ее было нечувствительно в сухую погоду, но после легкого дождя улицы мгновенно покрывались непроходимую грязью: тогда экипаж или верховая лошадь становились

необходимыми. Во всем Тифлисе были в те года восемь, много карет и колясок, принадлежавших высшим властям и двум или трем богатым грузинским семействам. Внутри края грузинские дворяне, мужчины и женщины, путешествовали преимущественно верхом, реже на воловьих арбах и в *трахтараванах* – крытых носилках, повешенных между двумя гусем идущими лошадьми или лошаками; городские жители и за ними русские офицеры предпочитали ездить верхом и только в особенных случаях прибегали к извозчичьим дрожкам в две лошади, для которых были устроены стоянки на Армянском базаре и на площадях Эриванской и Мадатовской. Тифлисские извозчики ездили шибко, но их дрожки, известные в Москве и в Петербурге под именем «гитар», не отличались ни удобством, ни безопасностью сидения: на них можно было удержаться только верхом; сидевший боком рисковал при скорой езде на первом крутом повороте ринуться лицом в грязь или, что хуже, полететь назад через голову, ногами вверх. Это метательное свойство, казалось бы, должно было противиться употреблению их прекрасным полом, однако грузинки и армянки, которые, следует заметить, не покидали народного костюма и под юбкой прикрывались красными шальварами персидского покроя, изобрели весьма остроумный способ ездить по четыре на дрожках, считавшихся не довольно просторными для одного русского. Две садились верхом одна против другой, две помещались справа и слева на колени к своим подругам, оплетавшим их талию скрещенными руками, и таким образом составляли четырехголовую женскую пирамиду, сверху до низу покрытую белыми чадрами, которая мчалась по тифлисским улицам в назидание всем прихотливым, брезгавшим извозчичьим экипажем. Случалось, что на задней дрожечной оси, уцепившись руками за рессоры, висел еще «бичо» – мальчик, без которого для порядочной грузинки считалось неприличным показываться на улице.

Об освещении города нечего и говорить; на главной улице вправо и влево от дома главноуправляющего горели по два тусклых фонаря, да на Эриванской площади светил фонарь возле полиции, а все остальные улицы старого и нового города оставались погруженными в непроницаемый мрак южных ночей, когда луна не разливала по ним своего чудного света. Хорошее знание местности требовалось для того, чтобы в безлунную ночь уберечься от ям, оврагов и буераков, испещрявших самые жилые части нового города. Экипажный спуск к Мадатовской площади был открыт с левой стороны – дом для начальника штаба подстроили только в сороковом году – и упирался хотя в неглубокие, но очень крутые овражки, отделявшие ездую часть от Солдатской слободки. Тут легко было сбиться с пути, и в темные, дождливые ночи мне самому не раз случалось и с дрожками и пешему лежать в этих овражках. Благо они были не глубоки, и рыхлая, дождем размягченная почва сберегала от опасного ушиба – весь изъязренный ограничивался замазанною шинелью, да разве еще потерянною фуражкой. Только с трех сторон обстроенная Мадатовская площадь вмещала следующие сооружения: длинный, одноэтажный инженерный дом занимал северный фас; на углу восточного фаса стоял одноэтажный же дом с мезонином, подпертым четырьмя толстыми, неуклюжими колоннами, в котором жил тогда дивизионный командир барон Роман Федорович Розен; от этого дома до противоположного угла тянулась невысокая стена из дикого камня с двумя безворотными проходами, отделявшая от площади целый квартал, занятый жилищами нескольких семейств из рода Орбелиани. На южном фаса красовались три дома, из коих один, угловой, принадлежал князю Туманову, о котором нечего было бы упомянуть, если б он не пользовался счастьем иметь красавицу жену и хорошенькую дочку. На запад площадь упиралась в обрывистое возвышение, с которого

спускалось несколько тропинок, удобопроходимых днем, но весьма небезопасных в ночное время; поэтому она могла считаться загороженной и с этой стороны, хотя тут не было ни одной постройки.

Старый город составлял бесспорно самую живописную и истинно любопытную часть Тифлиса, несмотря на нечистоту, неудобства и очень некрасивые вещи, ежеминутно попадавшие на глаза человеку, проникавшему в его извилистую внутренность. Тесные и кривые улицы местами были устланы такого рода головоломной мостовой, что без греха позволялось включить в ежедневную молитву: и избави нас Господь от такой напасти. В целой России, известной многими плохими мостовыми, один Арзамас стоял выше Тифлиса в достоинстве всеразрушительных свойств своего знаменитого мощения. Местами улицы, поднимаясь в гору, не требовали мостовой по причине каменистого грунта. Это были самые покойные и безопасные участки. С утра до позднего вечера народ толпился на этой ухабистой мостовой промеж лавок, открытых мастерских и духанов, покупая, продавая и перекрикиваясь на множестве разнозвучных наречий, которыми Кавказ так изобильно наделен. Грузины, армяне, татары, лезгины, персияне, имеретины, кабардинцы, русские, немцы, каждый в своем народном платье, составляли мешаную толпу, привлекавшую внимание своею яркою пестротой. Несмотря на кинжал, неизменный товарищ каждого кавказского уроженца, на шашки, сабли и ружья, которыми народ был обвешан, воровство и убийство на базаре считались неслыханным делом. Может статься, не в одной бритой голове тут же бродила мысль, как бы хорошо было того или другого нечистого свиноеда встретить подальше от города, где не имелось налицо ни солдата, ни казака, и там его отправить к праотцам да обобрать; но на городской мостовой эта самая голова только приятно ухмылялась предмету своих

тайных помыслов и смиренно преклоняла выю под стеснительный закон москоу-гяура.

К Армянскому базару примыкали несколько небольших площадок; каждая из них имела свое особенное назначение: на одной покоились развьюченные верблюды, оглядывавшие проходящих с выражением неудовольствия, исполненного горечи, другая была запружена сотнями ешаков, навьюченных корзинами с углем для мангалов – комнатонагревательных жаровен – и для оружейных мастеров, которыми был набит Тифлис, третья была заставлена буйвольими бурдюками, наполненными вином... В Грузии, как известно, вино хранится не в бочках. Для перевозки его с места на место употребляются бурдюки разных величин, делающиеся из цельной кожи животного, начиная с козленка до буйвола, с внутрь обращенною шерстью, намазанною нефтью. Новые бурдюки передают вину дух и вкус нефти, неприятные для человека, не привыкшего пить вино с этою приправой, почти нечувствительною, если оно хранилось в старом бурдюке.

Во всех закавказских провинциях виноград растет в изобилии, но ни одна из них не равняется добротой вина с Кахетией, покрытою вдоль алазанской долины, на протяжении ста двадцати верст от Алаверды до Алмалы, непрерывным рядом виноградников, посреди которых многолюдные селения покоятся в тени громадных ореховых деревьев. По высотам, ограничивающим долину с севера и с юга, грузинские помещичьи дома, фланкированные башнями старинной постройки, красиво отделяются от темной зелени густых лесов. Засеянных полей немного; вся земля отдана виноделию; зерна в Кахетии не достает, она покупает его на деньги, вырученные за вино. По богатству почвы, по климату и по красоте природы Кахетию можно, не предаваясь метафоре, назвать земным раем. В Швейцарии и в южной Италии многие пункты пользуются всемирною

славой неподражаемой красоты, и эти места действительно хороши. Однако не наслаждался видом одной из самых очаровательных картин, созданных Творцом на радость человеку, кто не видал Кахетии, кому не удалось с высоты, на которой уступами рисуется город Сигнах, любоваться восходом солнца из-за снегового хребта, заслоняющего алазанскую долину с северо-востока, когда облака, меняя освещение, одеваются во все цвета радуги, постепенно ясное небо проникается прозрачностью голубоватого хрустала, вершины противоположных, снегом покрытых гор начинают пламенеть, наконец огненный диск солнца выкатывается из-за зубчатой стены Кавказа, туман, заслонявший низ долины, распаивается как занавес, и глубоко под ногами раскрывается носящий название Кахетия нескончаемый цветущий сад, опоясанный серебряною лентой Алазани. Раз в жизни мне случилось с террасы одного из сигнахских домов глядеть на восход солнца над алазанскою долиной; с тех пор прошел для меня длинный ряд годов, много я видел новых стран, много прекрасных мест, но нигде не встречал картины, врезавшейся мне в память такими глубокими чертами.

Кахетинское вино пользуется на Кавказе славой, которую оно вполне заслуживает. Внутри России его не ценят по достоинству, в Европе о нем почти не знают; но это отнюдь не мешает ему равняться с лучшими бургундскими сортами. В мое время (полагаю, и теперь еще не бросили старинного обычая) грузинские вина хранились не в бочках и не в бутылках, а в огромных глиняных кувшинах, формы древних амфор, зарытых в землю по горло. Некоторые кувшины вмещали до трех тысяч тунг (пятнадцать тысяч бутылок). Место, где под крышей, подпертою каменными столбами, покоились в земле кувшины с вином, называлось «маранью». Для перевозки вина, как я прежде сказал, употреблялись бурдюки и неудивительно, ежели

длинные нити ароб, нагруженных бурдюками с вином, тянулись по всем дорогам к Тифлису, и ими загромождались целые площади, потому что в Грузии, Имеретии и Мингрелии не было бедняка-поденщика, который бы сел обедать, не имея перед собой кружки вина, хотя бы вся его пища состояла из одного чурека и из щепотки черемши, джонжолы или другой зелени. Грузины – охотники до вина и пьют немало; несмотря, однако, на хорошее качество родного вина, на его дешевизну и на их трудно утолимую жажду, редко я встречал между ними пьяниц. Зато часа в три после полудня, когда проходило обычное время обеда, можно было считать навеселе все Грузинское царство, о чем позволялось судить по яркому цвету носов, по усиленному блеску глаз и по добродушно веселому выражению лиц у всех встречных. В это время народный характер выказывался в его настоящем виде. Грузины народ добрый, откровенный, общежительный, храбрый и крайне беззаботный; любят они разгул и военные похождения. Расчетливая жизнь, хозяйственные заботы, промысел и торговля не их дело. На это существуют в Грузии армяне, отлично умевшие воспользоваться непрактичною стороною грузинского характера и овладеть торговлей, промышленностью и всеми источниками этой богатой страны.

В 1832 году в Тифлисе не было и помысла о театре. Русские и грузины проводили время в тесном семейном кругу, не часто сообщаясь между собой; общественные удовольствия ограничивались: для первых – прогулками за город, холостыми вечерами за вином и картами, да приемными днями у Корпусного командира; для вторых – обедами в садах, которыми и русская молодежь не пренебрегала, и скачками. Грузинки высшего общества, применяясь к русским обычаям, без дальних затей скучали дома или чинно красовались на редких официальных вечерах, а принадлежавшие к среде небогатого дворянства и городского

среднего сословия, следуя старинной привычке, по вечерам забавлялись пляской на плоских крышах, обществом ходили в тифлисские теплые бани, а по четвергам все женское городское население с раннего утра отправлялось на поклонение Св. Давиду.

Маленькая церковь, построенная над могилой Св. Давида, к которому грузинки питают особенное благоговение, как известно каждому, кто бывал в Тифлисе, стоит на половине отвесной горы, возвышающейся над арсеналом. Крутая каменистая тропинка змеинными извилинами ведет к святилищу, господствующему с высоты своей над всем городом и над самыми сокровенными помыслами красивой половины его жителей. Грузинки, по обету сняв обувь, шли в гору просить у святого: девицы – суженого по сердцу, женщины бездетные – плода, беременные – счастливого разрешения, покинутые – нового счастья. Вера в святого не имела предела и, что всего лучше, просительницам не надо было томиться долго неизвестностью, достигнут ли они своего желания или нет.

Следовало только по окончании молитвы приложить к сырому фундаменту церкви камешек, поднятый на горной тропинке: прилипнет он, значит желание исполнится; упадет – нечего и надеяться. Часто я ходил глядеть, как по четвергам до свету еще на пустых улицах начинали со всех сторон собираться чадроносицы, как число их, умножаясь, сливалось в непрерывную белую ленту, извивавшуюся по крутой дороге, пролежавшей к Св. Давиду, как они, поклонившись чудотворным мощам, подобно бесчисленной стае лебедей рассыпались по горе для отдыха и будто взмахами белоснежных крыльев манили к себе на высоту праздновать появление молодого дня. Сколько томных черных глаз, сколько нежно обрисованных личек случалось мне тут видеть на одно мгновение, едва успевая окинуть беглым взглядом очерк гибкого стана, быстро

мелькнувшего из-под нечаянно распахнувшейся чадры. Все грузинки, молодые и старые, ловко умеют драпироваться в чадру, закрываясь ею до глаз; у молодых и хорошеньких она, однако, не держалась так плотно, как у старух, и нередко слегка раскрывалась при встрече с женщиной, ненадолго, на одно мгновение, но его было достаточно для удостоверения, что ею прикрывались не старость и не уродливость. И после этого, с воображением, наполненным заманчивыми призраками лучших благ, какие в молодости нам сулит жизнь, не охлажденная еще долгим опытом, мне приходилось прямо идти в канцелярию, готовить доклад, прочитывать весьма незанимательные бумаги и поправлять писарские ошибки. Скучная, сухая, но неустрашимая работа не позволяла мне тратить много времени на мечтания...

И мне случалось в Тифлисе нередко отнимать дорогие часы у сна, только не для работы, подобно Вольховскому, а для того, чтоб освежить голову на чистом воздухе и освободить легкие от пыли, которую я в продолжение жаркого дня глотал в канцелярии, пересматривая старые дела.

В июне становилось так жарко, что с удовольствием можно было жить только ночью. Температура доходила после полудня до + 28° Реом. Зато после заката солнца, когда свежий, душистый ветерок с гор проникал в сгустившуюся над городом, жаром пропитанную атмосферу, наступали часы, в которые было легко и весело жить. Улицы, опустелые до того времени, наполнялись народом, на крыши и на террасы высыпали ожившие жильцы, повсюду слышались протяжные ноты голосистых татарских и грузинских песен, мерно звучали бубны, и на высоте домов мелькали в переливах полусвета, распространяемого цветными персидскими фонарями, яркие женские платья и заманчивые силуэты пляшущих девушек. Далеко за полночь кипела веселая жизнь на крышах и на улицах, усыпанных народом, жадно вдыхавшим ночную прохладу. В то время дома

старого города были устроены так, что, не касаясь мостовой, а поднимаясь только и опускаясь с одной крыши на другую, можно было обойти целый квартал и открыть себе вход в любой дом. С Пикаловым, которого в околотке все знали и очень любили за его общительность, мы два предпринимали по нашему кварталу такого рода прогулку, избегая, однако, заходить на те крыши, где находились одни женщины: молодые разбежались бы, а старухи разбранили бы нас без всякой церемонии за нашу нескромность. Туда же, где присутствовало мужское существо, смело можно было идти, зная наверное, что веселый и добродушный грузин нисколько не обидится посещением незнакомцев, а гостей, которых ему Бог послал, хотя и не совсем обычным путем, примет с открытым сердцем, познакомит со своим семейством, дочерей или сестер заставит плясать лезгинку, а сам, распевая под звук чунгура, станет пить и донельзя поить своих новых друзей.

Ночной вид Тифлиса после жаркого летнего дня заключал в себе столько заманчивого разнообразия, что каждый раз можно было им наслаждаться с новым удовольствием, не замечая, как уходили часы. Но всего краше являлся город при лунном свете. Тогда разве слепому или совершенному идиоту было простительно не любоваться чудною картиной, которая рисовалась перед глазами. В такие ночи позволено ли было думать о сне и об усталости! Нередко утренняя заря заставляла нас на улице или где-нибудь далеко за городом.

К числу более осязательных и каждому душевному настроению доступных удовольствий принадлежали тифлиские бани, построенные на серных горячих источниках, по-грузински «*типлис*», давших начало названию города. Они занимали немаловажное место в быту туземного населения, посещавшего их не по одной надобности, но и в смысле приятного препровождения времени. Четыре бани,

между которыми лучше считалась баня, носившая название «архиерейской», потому что доходы с нее поступали в пользу тифлиского архиерея, никогда не оставались пустыми. Летом они посещались преимущественно от заката до восхода солнца. Поочередно две бани отводились для женщин, а две оставались в распоряжении мужчин. Наружным видом тифлиские бани мало отличались от других восточных купальных заведений, построенных на один общий образец. За длинным, темным входом просторная ротонда, получающая свет через окна, пробитые в куполе, посреди ротонды бассейн студеной воды с фонтаном, по сторонам глубокие ниши для раздевания, примыкающие к одной общей и к двум или трем отдельным купальням, в которых из стены бил горячий ключ. Широкие каменные скамьи, застланные циновками и тюфяками, были расположены в нишах для отдыха после бани. В Турции мне случилось видеть публичные бани красивее и богаче, но что касается до искусства мыть, растирать и переминать суставы так приятно, что купающийся погружался в какое-то неопределимо-сладостное изнеможение, тифлиские банщики не находили равных себе. Лучшие из них набирались в Персии, откуда они охотно переходили в Грузию, дороже ценившую их талант. Банщицы, носился слух, не уступали им в искусстве костюмной манипуляции и поэтому неудивительно, если тифлиские красавицы, не имея большого выбора в удовольствиях, любили нежиться в банях и проводить в них целые вечера в обществе своих приятельниц. При тогдашней строгости грузинских обычаев, мужчине не позволялось даже близко подойти к бане, отданной в распоряжение женщин, и всякая попытка нарушить запрещение повлекла бы за собой весьма неприятные последствия для нескромного искателя приключений. Но одна отдельная купальня не отнималась по четвергам у посетителей мужского пола, несмотря на присутствие женщин во всех прочих отделениях. К тому же ниша для раздевания, принадлежавшая

к этой купальне, отделялась от ротонды, занятой женщинами, одною темно-зеленою саржевою занавесью. И странное дело: женщины, отнюдь не из категории легконравных, недоступно стыдливые во всякое другое время, на улице закутаные в чадру до бровей, нисколько не смущались, чужая колеблющаяся занавесью нескромный глаз незнакомого пришельца, и мелькали по ротонде в том разоблаченном виде дианиных нимф, из-за которого Актеон так горько пострадал. А из молодых грузинок и армянок, могу поручиться, весьма немногие по наружности не годились прямо в свиту к целомудренной богине. Мало кому из русских был известен этот непонятный четверговый обычай, туземцы про него не рассказывали, и поэтому он укрывался от внимания большинства тифлисской публики. В другой женский день, в субботу или понедельник, не пропустили бы мужчину через порог этой бани, а в четверг ничего не значило. «Такой закон», – объявлял смотритель бани; «такой закон», – утешали себя молодые купальщицы; и этим мудрым словом, решающим на Востоке каждый запутанный вопрос, устранялись все дальнейшие сомнения.

На первых порах я не имел времени участвовать в холостых пикниках, которые устраивались по загородным садам, потому что эти обеды обыкновенно продолжались очень долго и не обходились без попойки, а мне следовало всегда держать наготове свежую голову, не зная заранее, когда Вольховскому вздумается потребовать меня к себе для дела. До выступления в поход я не имел даже удобного случая короче познакомиться с товарищами, число коих было весьма ограничено, потому что барон Розен, недавно приехав в Грузию, не успел еще сформировать свой штаб, а офицеры, служившие при лице князя Варшавского, за исключением немногих, уехали вслед за ним в Царство Польское.

Дружеские отношения, в которых одна близкая мне родственница находилась с баронессой, доставили мне

весьма ласковый прием с ее стороны. На домашних обедах, к которым Корпусной командир имел обыкновение приглашать поочередно всех служивших при нем офицеров, я познакомился с его дочерьми и младшим сыном, носившим еще пажеский мундир, а на баронессиных приемных вечерах имел случай бросить хотя поверхностный взгляд на тифлисское общество, в котором круг моего знакомства расширился позже, когда мы вернулись из экспедиции.

Баронесса Елизавета Дмитриевна во дни молодости, носился слух, была очень хороша и имела в свете много успеха. В 1832 году ей было далеко за сорок лет, и следы прежней красоты едва проглядывали сквозь полноту, которая, увеличиваясь с годами, под старость стала для нее тяжелым бременем, но в то время придавала ей только вид осанистой дамы, более почтенной, чем моложавой наружности. Она очень любила репрезентацию и настойчиво ласкала эту, впрочем, довольно невинную страсть, находившую полную пищу в служебном положении ее супруга. В общественном отношении, при множестве ее хороших качеств все бы пошло наилучшим порядком, если бы она с наименьшею важностью принимала тифлисских дам, которые не в силах были простить ей тон, неприятным образом задевавший их щекотливое самолюбие. Не влюбив ее, они не замедлили составить сильную оппозицию, в которую мало-помалу втянули своих покорных супругов и приучаемых угодников. Все это, разумеется, происходило за кулисами, и баронесса продолжала жить в уверенности, что ее все обожают. Тут разыгрывалась слишком обыкновенная светская комедия: все в ней нуждались и все ей кланялись, льстили ей в глаза, а заочно взводили на нее всякую быль и небылицу. Весьма немногие личности умели хранить должную независимость чувств и поведения. Люди, пресмыкавшиеся перед нею, когда барон был в силе, пользовавшиеся ее особенным покровительством и во

многим ей обязанные, случалось, впоследствии укоряли ее громче других, не совестясь к зерну правды подбавлять грузы лжи. Не пойду по их следам, хотя сам никогда не принадлежал к числу ее безусловных поклонников; с благодарностью стану вспоминать о тех приятных минутах, которые я проводил у нее в доме, когда мне удавалось вступать в полосу милостивого от нее расположения. А что касается до падавшего на нее укора в гордости и повелительности, то спрошу только, многие ли дамы, поставленные в ее положение, держали бы себя иначе.

Каждый вечер гостиная баронессы была открыта для небольшого числа избранных посетителей, обыкновенно адъютантов и других штабных офицеров, получавших именное приглашение или имевших право бывать без зова; два раза в неделю, в четверг и в воскресенье, она принимала по вечерам все тифлисское общество. В обыкновенные дни редко можно было встретить у нее кого-либо из городских дам; мы проводили эти вечера в тесном семейном кругу, состоявшем из баронессы и ее двух старших дочерей. Две младшие дочери тогда были еще дети, которых гувернантка вводила при появлении первых гостей. Иногда, освободившись от занятий, приходил барон Григорий Владимирович и садился за большой круглый стол возле их дочерей слушать болтовню молодежи, которую он несколько не стеснял своим присутствием, а напротив и вызывал к полной откровенности серьезною добротой, просвечивавшею во всем, что он говорил и делал.

Простота семейных вечеров, облегчавшая благодаря уму и добродушию барона общественные отношения скромных подчиненных ко всемогущему начальнику, с лихвой искупалась чопорностью официальных собраний, которые, правду говоря, на наши глаза имели мало привлекательного, несмотря на приманку грузинской красоты, являвшей тут худшие образцы. Не знаю, с какой целью необходимо

было доводить требования этикета до такой степени, знаю только что от этого было скучно и неловко. Собирались на вечера не поздно, к восьми часам. Пока было светло, баронесса принимала гостей на террасе, окаймленной зеленью и кустами и украшенной фонтаном, с которой открывался вид на часть ниже лежавшего города и на дальние горы. Тут было хорошо, свежо, и еще довольно свободно можно было прохаживаться, подходить и разговаривать, с кем казалось поинтереснее, не опасаясь нарушить иерархического порядка и требуемого безмолвия. По вступлении в комнату сцена изменялась. Старики и дамы почтенных лет размещались за карточными столами в большом салоне, оклеенном, как помню, красными французскими обоями, что в то время в Тифлисе считалось завидною роскошью. В этой комнате теснились густою толпой кавалеры, не имевшие смелости проникнуть во второй, заветный салон, где сидела баронесса Елизавета Дмитриевна с дамами, не игравшими в карты. Она сама любила бостон, но не позволяла себе садиться за игру с начала вечера, заканчивая его этим удовольствием. Покинув террасу, она помещалась с дочерьми в глубине салона, и направо и налево от них нанизывались вдоль стены по старшинству чина и происхождения дамы и девицы, осужденные перешептываться между собой, потому что из кавалеров весьма немногие смельчаки решались проникнуть в середину этого очарованного круга на испытание своего счастья в игре остроумия и светской ловкости. Напрасно баронесса старалась оживить общество, придумывая всякого рода «jeux d'esprit»^{*} и устраивая музыкальные занятия, в которых участвовала сама с дочерьми. Дело не шло на лад по весьма существенной причине: два главные элемента – коренной грузинский и русский, совершенно изменившийся

* Игры на сообразительность (фр.).

по причине отъезда старых и прибытия множества новых лиц, как всегда случалось при перемене главнокомандующего, не успели еще сблизиться, и каждый со своей стороны хранил наблюдательное положение. В мужском кругу господствовали военный мундир и грузинская чуха, а фрак являлся в виде редкого исключения; дамское общество делилось на два лагеря, на русских и некоторое число грузинок, одетых по французской моде, и на большинство грузинских дам, не изменивших еще своему национальному костюму. О кавалерах не стану говорить, хотя между ними были человека два-три весьма замечательные и в светском отношении; но так как они в поле вымазались еще с лучшей стороны, чем на паркетe, то поберегаю упомянуть о них позже, а теперь брошу взгляд на дам, принадлежавших к кругу высшего тифлиского общества.

Русских дам, занимавших в нем видное место, было тогда в Тифлисе очень мало. Напрасно припоминаю, какая из них имела бы право навсегда поселиться в памяти молодого офицера, который мог судить о достоинстве их по одной наружности, а не по скрытым душевным качествам, оставшимся для него вечною загадкой по причине недостатка времени, случая да и потребной опытности на такое трудное исследование. По особым причинам, только две русские дамы того времени остались в моей памяти: Катерина Николаевна Д., начальница тифлиского пансиона благородных девиц и задушевная приятельница баронессы Елизаветы Дмитриевны, потому что она природой была награждена такими голиафскими размерами роста и толщины, что от них не только ее воспитанницы, но и посторонние приходили в невольный трепет, и всему Тифлису известная старушка Катерина Акакиевна, первая мастерица играть в бостон. Катерина Акакиевна, прибывшая в Тифлис едва ли не в конце прошедшего столетия с первыми русскими войсками, была почтенная, всеми уважаемая

дама, во всех случаях, кроме бостона, умевшая хранить с приличием требуемое спокойствие духа. Предавшись бостону, она забывала весь остальной мир и, бывало, приходила в такой нестарческий восторг, что ее смущенные партнеры не знали, чем унять расходившуюся старушку, без пощады бранившую их за каждый выход, не имевший счастья ей понравиться. Низко приседая перед баронессой во всякое другое время, за бостоном она решительно не признавала ее первенства и спорила с нею как бы с обыкновенною, равною ей дамой, забывая даже величать ее вашим превосходительством. Эта бостонная раздражительность почтенной Катерины Акакиевны происходила не от скупости или врожденного пристрастия к картам: бостон составлял для нее жизненный вопрос. Лет тридцать тому назад, оставшись вдовой после мужа, полковника, убитого в войне с горцами, она увидела себя осужденною прозябать на чужой стороне с пансионом, от которого бы просто пришлось голодать ей и сыну, если бы не выручал бостонный талант. Бостоном она зарабатывала ежедневное пропитание, бостоном воспитала своего сына, определила на службу, пустила его в чины а по смерти даже оставила ему капиталец в несколько десятков тысяч рублей ассигнациями. При всей скудости своих средств она умела составить себе в тифлиском обществе весьма недурное положение. Первою обязанностью для каждого новопривывшего молодого человека считалось представиться Катерине Акакиевне, иначе он рисковал попасть к ней на язычок; а матушки взрослых дочерей ласкали ее и отдавали ей всякое почтение, одинаково опасаясь язычка; да говорят и потому, что она умела с легкой руки устраивать не только бостонные, но и матримониальные партии. Мне она осталась в памяти по одной довольно забавной сцене, разыгравшейся у баронессы за карточным столом. Катерина Акакиевна, по нужде ставшая образцом расчетливости,

взяла привычку платить за картами не иначе как старыми, обтертыми или обрезанными червонцами. Баронесса Елизавета Дмитриевна, в равной степени не любившая нести потери, заметила эту уловку и, откладывая в сторону получаемые от нее червонцы, не упустила случая при первом проигрыше вернуть их Катерине Акакиевне. Но почтенная дама не замедлила узнать своих старых питомцев и самым решительным тоном отказалась снова приютить их в своем кошельке. Дребезжащий голос старушки раздавался по всей комнате и созвал толпу любопытных к карточному столу. «Не беру, не беру обрезанных червонцев», – кричала она, отталкивая неполновесные деньги. Напрасно Елизавета Дмитриевна защищала свое право платить ей теми же червонцами, которые, выиграв, брала от нее. «Не знаю, от меня или от кого другого вы получили эти деньги, а коли от меня, так ваша добрая воля была их брать, а я, баронесса, прежде чем взять, разглядываю каждый червонец. Армяне скидывают с них по целому абазу», – повторяла Катерина Акакиевна взволнованным голосом. И баронесса не превозмогла ее упрямства, а была принуждена, для прекращения спора, вручать ей расплату блестящими, но отточенными золотыми кругами.

Ежели случайным образом между русскими дамами не существовало в то время более привлекательных личностей, зато грузинский круг заключал целый ряд таких представительниц прекрасного пола, которых забыть было бы грешно. Что до меня касается, то я помню их всех, помню молодых и помню старых, и воспоминание о них, подобно радуге после дождя и бури проясняют мысли мои, когда они невольно останавливаются на темных точках моей кавказской жизни.

Кто перечтет всех красавиц-грузинок того времени? Бывало, не знаешь, на которой из них остановить глаза, когда они в приемный день чинно рассядутся в баронессиной

гостиной. Хороша была графиня Симонич, а не хуже ее была княгиня Мана, у которой томные карие глаза светили душу согревающим лучом ничем невозмутимой кротости – и кто ее знал, тот может поручиться, как необманчиво было выражение ее прекрасного взгляда. В числе дам отличались еще замечательною красотой А., миловидная армянка, жена богатого и ревнивого мужа, неразлучно при ней выставявшего напоказ свою несимпатичную физиономию испуганного леопарда, и княгиня Туманова, которая так победоносно выдерживала сравнение со своею дочерью, считавшеюся одною из самых хороших тифлиских девушек. А рой девиц как богато был наделен расцветавшими красотками! Кто не любовался стройною княжной Еленой и ее смуглою тонколицею сестрой Майко, живою как порох Сонею, дочерью графини Симонич, идеально-прекрасною Майко Кайхофо и княжною Амилохваровой, носившею прозвание Минервы за величаво-правильный очерк лица и стана? Кто не помнит Марью Ивановну, довольно полную, необыкновенно свежую девушку, с черными, исполненными ума глазами, смиренно восседавшую возле доброй, краснолицей тетюшки Тинии, эту Марью Ивановну, которая, вышед замуж за своего однофамильца, князя Дмитрия Орбелиани, впоследствии сумела так хорошо устроить свою собственную жизнь и судьбу своей дочери? Пропускаю еще многих других, с которыми я познакомился позже или которые не принадлежали к обществу, собиравшемуся у баронессы. Тифлиссский жилец того времени, читая так много знакомых ему имен, имеет полное право спросить, почему же я ни слова не говорю о двух лучших перлах тогдашнего круга грузинских красавиц, о солнце Грузии, о знаменитой Катеньке и о старшей сестре ее, Нине Александровне, которую за ее ангельскую доброту, не вдаваясь в метафору, можно было назвать существом истинно неземным. В Тифлисе их не было в начале 1832 года;

я познакомился с ними после экспедиции и в своем месте наверное не забуду высказать все, что у меня осталось на душе от счастливых минут, прожитых в гостеприимном доме их отца, князя Александра Герсевановича Чавчавадзе.

Я уже заметил, что тифлисское общество делилось по платью на два лагеря. В 1832 году не более четырех или пяти первоклассных грузинских фамилий одели своих дочерей в модное французское платье и дали им оттенок европейского воспитания. Сами грузины хранили национальный костюм, меняя его только на русский мундир, когда поступали в военную службу. Фраком и безобразною круглою шляпой они пренебрегали как снадобьем, решительно не соответствующим военной жизни, на которую в то время были обречены все кавказцы. В этом случае грузины, полагаю, поступали по законам вкуса и здравого смысла. Чуха с откидными рукавами, украшенная галуном, цветные шаровары, высокие, нечерные сапоги и персидская баранья шапка лучше шли к ружью за спиной и к сабле при бедре, чем цилиндр и пальто, хотя бы самого вычурного покроя. Грузинки среднего сословия все без изъятия и многие из высшего круга также предпочитали народное платье, делая отступление касательно одной обуви. Женщины народного класса обували босую ногу в желтые сафьянные носки – *месты*, сверх которых для улицы надевались туфли на высоких каблуках. В купеческих и в дворянских семействах первый шаг к цивилизации и к сближению с русскими начинался у прекрасного пола с ног, на которые в таком случае надевались чулки и башмаки. За переменной обуви неминуемо следовало изучение французской кадрили и русского языка, на чем, бывало, и останавливалась цивилизационная реформа. Грузинка, вступающая этим путем на поприще модных затей, заменяла чадру мантильей, сохраняя впрочем все остальные части старинного убора: *тавсакрави*, вуаль, *гулиспири* и

платы прежнего покроя. И хорошо она делала, не расставаясь без нужды с национальным платьем: на хорошенькой женщине оно красовалось не хуже французского, не подлежало моде и поэтому при всей нарядности своей отцам и мужьям обходилось несравненно дешевле. Длинный остромысый лиф и без корсета ловко охватывал складную талию грузинки, не стесняя ее натуральной гибкости; длинная и широкая юбка живописно застилала формы, достойные резца; широкий пояс с концами, опущенными спереди до земли, обвивал тонкий стан. Спина и плечи были закрыты, но вырезанный ниже груди лиф совершенно бы ее обнажил, если б она не прикрывалась полосой шелковой материи другого цвета, чем платы, носившей название «*гулиспири*» – покров сердца. Щекотливая стыдливость некоторых наших дам не находила примирительного оправдания для этой части грузинского женского костюма, недостаточно прикрывавшего проявление форм, которые, по мнению их, надлежало тщательно скрывать. Позволю себе в этом случае вступить за грузинок и за их вполне стыдливое гулиспири, грешившее против скромности отнюдь не более каждого, французской моды, бального платья. Головной убор у грузинок, «*тавсакрави*», признаться, мне не нравился. Узкая матерчатая повязка, надвинутая на самые брови, некрасивым образом закрывала лоб, зато легкий газовый вуаль и распущенные по плечам прекрасные волосы, заплетенные в множество тонких кос, служили украшением, довершавшим общую гармонию наряда. В холодное время грузинки надевали сверх ярко-цветного платья «*катеби*» шубку из красного или зеленого бархата с откидными рукавами, вышитую спереди золотом, жемчугом, а иногда и цветными камнями. *Чадрой*, про которую я говорил уже не раз, называлось белое полотняное покрывало, без которого грузинка в прежнее время не смела выйти на улицу. Она накидывала его на голову и окутывала

им стан, оставляя встречному любоваться одними глазами да узкою, маленькою ручкой, придерживавшею чадру на высоте алых губок.

К описанию грузинского женского костюма мне остается прибавить, что я под этим нарядом, выключая старух, почти не встречал положительно дурных женщин. Жаль, что красота их так скоротечна: развитая в двенадцать лет, в тридцать грузинка уже делается старушкой. Но и в этом отношении встречались замечательные исключения: стоит только вспомнить графиню Симонич, Марью Ивановну, Нину Александровну, княгиню Ману и Туманову.

В Тифлис я прибыл накануне 6-го декабря. Тогда это был великий день для целой России и, не говоря уже о Петербурге, не было губернского города, в котором бы он не праздновался молебствиями, официальными обедами у старших властей и балами. Городские красавицы нетерпеливо ожидали наступления этого дня и за месяцы готовили самые поразительные туалеты. И в Тифлисе готовился бал у Корпусного командира, на котором я имел право присутствовать в числе прочих, находившихся налицо офицеров. Праздник у главноуправляющего Кавказским краем мог соперничать в блеске с любым столичным балом, а относительно разнообразия обстановки и разноплеменности гостей стоять несравненно выше. Тут, как и в экспедиционном отряде, можно было встретить представителей всех европейских и азиатских наречий. Красавицам не было счета, и в сонме их, как две звезды первой величины, светили Нина Грибоедова и сестра ее Катерина. Вольховский, старинный приятель их отца, князя А. Г. Чавчавадзе, сам подвел меня к его супруге княгине Саломе и к дочерям и представил как одного из страдалцев последней экспедиции. Не знаю, насколько эта оговорка надбавила интересу в мою пользу, помню только, что они своею

добродушною встречей возбудили во мне смелость на другой же день явиться к ним на поклон. Не прошло месяца, и я стал у них хотя не домашним человеком, но таким, который бывал ежедневно, обедал очень часто и просиживал долгие зимние вечера, когда они сами не были приглашены в гости.

Впрочем, не я один сделался постоянным посетителем их дома и верным поклонником двух привлекательных сестер. Я примкнул только скромным оруженосцем к многочисленной, не одними мундирами блиставшей фаланге ревностных обожателей их красоты и душевных качеств. Были тут страдалцы, готовые тотчас же повергнуть к их прекрасным ногам сердце и руку, если бы только проглянула искра надежды на благосклонный прием такого жертвоприношения. Все напрасно. Шестнадцатилетняя вдова Грибоедова умерла под вдовьим покрывалом, а сестра ее несколько лет спустя, сделавшись женой владетельного, поступила в светлейшие Екатерины Александровны. Я же был слишком молод и зависим от обстоятельств, чтобы заноситься со своими претензиями так высоко; не видя цели и проку, остерегался осаждать их сердца вздохами, на которые вообще не любил тратить время и, может статься, по этим самым причинам был награжден откровенным расположением, если меня не обманывает самолюбие; быть может, одна душевная доброта заставляла их ласково переносить частое присутствие молодого, не слишком занимательного человека, в котором только и могла для них иметь цену его безрасчетная привязанность ко всему дому; не хочу, однако, для собственного утешения примириться с мыслию, чтобы тут не было хоть искры настоящей дружбы. Я очень любил все семейство; и по сию пору не могу дать себе полного отчета, которая из сестер поистине мне больше нравилась. Лучистые глаза Катерины Александровны и ее чудная улыбка жгли мне сердце, томная

красота и ангельский нрав Нины Александровны обливали его целительным бальзамом, к одной стремились глаза и сердечные чувства, к другой влекло душу непреодолимою силой.

Как тут решить, и ума не приложишь. Годами длилось наше знакомство без всякой перемены. Князь Александр Герсеванович и княгиня Саломе были со мной всегда одинаково ласковы, Катерина Александровна и в сане светлости дарила улыбкой, а Нина Александровна продолжала обнаруживать искреннее участие. Короткое знакомство с семейством Чавчавадзеых принесло еще другие плоды. Примеру его последовали в отношении меня и прочие грузинские семейные дома, в Тифлисе мне стало жить тепло и уютно.

В бытность барона Розена, Чавчавадзеы провели в городе только одну зиму. Жили они недалеко от Мадатовской площади, в доме у доктора Депнера. Гостиная их не опорожнялась от гостей; каждый день с утра собирались к ним родственники и родственницы грузинские, потом начинали приходиться русские, один за другим, как кто освобождался только от службы. За стол садились иногда, кроме семейства, по двадцати неожиданных гостей; князь Александр Герсеванович держался еще старинных правил русского и грузинского гостеприимства оставлять каждого, кто пришел незадолго перед обедом, и через это порядком расстроил свое состояние. К числу самых частых посетителей дома принадлежал и Николай Павлович Т-в. Нина Александровна затронула его сердце, и он высказывал ей свои чувства полусерьезно, полусутоливо, всегда очень умно, но в таких кудряво-цветистых фразах, что она не могла слышать без смеху его объяснений в дружбе и преданности. Высокий, худой, близорукий, природою наделенный длинными, необыкновенно тонкими ногами, про которые сам говаривал, что осужден ходить на чубучках,

он был притом в высшей степени рассеян и, не зная, куда девать ноги, имел привычку заплетать их за ножки своего стула. Это обыкновение не раз уже ставило его в весьма затруднительное положение. Однажды у Чавчавадзеых играли вечером в какую-то игру, во время которой играющие должны сидеть в кружке и вставать со стула каждый раз, когда назовут цвет, зверя, или цветок, заранее им присвоенные, иначе обязаны платить фант за свою невнимательность. В кругу блистали все хорошенькие глазки, какие только были в тифлисском обществе. Вмешавшись в игру, Николай Павлович опять заплел свои ноги самым хитрым узлом и в глубоком раздумье глядел на Нину Александровну. Неожиданно назвали принадлежавшее ему качество. Он не отозвался. Повторили слово; тогда, забыв о своих ногах, он вдруг поднялся и в то же мгновение растянулся посреди комнаты вместе со стулом, приставшим к нему как корень к дереву. Трудно было удержать серьезный вид, все расхохотались; одна Нина Александровна с участием бросилась ему помогать. При своем добродушии, она не хотела и замечать его странностей, а видела в нем только хорошие стороны честного, доброго человека и всегда говорила, что очень его любит и находит истинное удовольствие проводить с ним время.

Этот самый Т-в собирал нас к себе на литературные вечера. В просторной комнате широкий, мягкий диван занимал три стены, позволяя предаваться вниманию сидя, лежа, в каком угодно было положении. Посредине стоял большой стол, покрытый зеленым сукном, над которым привешенная к потолку единственная лампа ярко освещала чтеца, оставляя слушателей в таинственном мраке. При такой искусно подготовленной обстановке он читал нам отрывки из своего *Cicerone del Caucaso*, в котором описывалась рассказанная мною чеченская экспедиция с поэтической точки зрения, между тем как я старался удержать

свое повествование в тесных пределах фактической прозы. Умно было написано, занимательно слушать; случалось ему только утомлять нас, зачитываясь до поздней ночи. После чтения подавали хороший ужин, которым, к сожалению, не могли вполне насладиться одолеваемые сном слушатели. Кто-то из приятелей вздумал ему посоветовать переменить порядок, начав с ужина и кончая чтением. Он согласился, и на следующий раз мы сначала утолили голод, а потом разлеглись на диване слушать чтеца. Уже с час декламируя с жаром, он нисколько не замечал, что делается в темных концах комнаты. При одном удачном пассаже Т-в обратился к слушателям: не правда ли, счастливое сравнение? (Ему сильно нравились уподобления во вкусе тогдашней французской школы.) Нет ответа. Он приподнял ширмы над лампой, и что же представилось его взору? Круг слушателей, благодаря соблазнительному дивану, покоился в глубоком сне, а на вопрос его отвечали только одобрительным храпом. С той поры он прекратил чтения, но как умный человек продолжал угощать обедами и ужинами без литературной приправы.

Тифлиское общество вообще очень разбогатело людьми, с которыми приятно было жить. Ординарец Корпусного командира, граф Девиер, занял вместе с Цукато маленький красивый домик над оврагом, пролежавшим через Эриванскую площадь. Он был очень хороший пианист, и скоро образовался около него кружок любителей музыки, с удовольствием собиравшихся слушать его приятную игру. Сколько прекрасных вечеров провел я у этих хороших, талантливых людей, давно уже покинувших здешний мир. На Эриванской площади жили еще: адъютант Языков, умерший в помешательстве, Павел Бестужев и Каменский с молодым красивым кумыкским князем Мусса-Хасаем, которого они взялись воспитывать на европейский лад, Савостьянов и умный, хронической ленью одержимый,

Клементий Р., кандидат в офицеры генерального штаба, сыпавший веселыми остротами, когда лежал на своем покойном диване, нахмуренный и едкий, когда необходимость заставляла его расстаться с ним хотя бы на самое короткое время. Число адъютантов Корпусного командира умножилось еще К. Рихтером, отличным офицером и самым добрым товарищем, какого только можно пожелать. Веселый, беззаботный, он глядел на жизнь как на нескончаемый праздник и, не скупясь, тратил ее на удовольствие себе и другим, пока тяжкая болезнь не сокрушила его упругую натуру.

К числу лиц, разнообразивших интерес нашего круга, бесспорно принадлежали многие из помилованных декабристов, отбывавших на Кавказе последние годы своего отчуждения от родины. Это были люди, получившие большею частью хорошее воспитание, некоторые с замечательными душевными качествами, испытанные несчастьем и наученные тяжелым опытом жизни. Для молодежи они могли служить спасительным примером и уроком. Спрашиваю, можно ли было, узнав, не полюбить тихого, сосредоточенного Корниловича, автора Андрея Безымянного, скромного Нарышкина, Коновницына, остроумного Одоевского и сердечной добротой проникнутого Валерьяна Голицына. С Александром Бестужевым (Марлинским) я имел случай часто встречаться у брата его, Павла. Литературный талант его известен и давно оценен, поэтому нечего о нем говорить. Как человек он отличался благородством души, был слегка тщеславен, в обыкновенном светском разговоре ослеплял беглым огнем острот и каламбуров, при обсуждении же серьезных вопросов путался в софизмах, обладая более блестящим, чем основательным умом. Он был красивый мужчина и нравился женщинам не только как писатель, о чем в мое время кое-что поговаривали в Тифлисе.

Наши сношения с этими лицами были самые открытые и безвредные в политическом смысле. Да мало ли из них, попав в беду совершенно молодыми людьми, сами не зная как, были способны к чему угодно, только не к политической агитации. При всем этом нашлись такие люди и в Тифлисе, которые «из ревности и преданности», а, полагаю, ближе всего из ошибочного низкого расчета, писали тайные доносы насчет опасности, могущей возникнуть от сближения молодых офицеров с людьми, осужденными законом за политическое преступление. Не входя в их забытое прошедшее, с которым они сами давно покончили, без всякой задней мысли и я водился с ними, не опасался показываться публично в их обществе и никак не скрывал мою симпатию к Нарышкину и Голицыну. По этому случаю один господин счел обязанностью шепотом мне посоветовать быть поосторожнее.

– В чем? – спросил я.

– В выборе вашего знакомства.

– С кем?

– С господами... вы сами знаете. Ведь еще помнят, за что они попались.

– Что же может выйти из этого, если я стану продолжать мои сношения, как их начал.

– Начальство может усомниться в направлении вашего образа мыслей.

– Жалею о начальстве, которое во мне так мало уверено. Каждый навет, которым бы вздумали меня очернить, я надеюсь опровергнуть фактом, не одними уверениями; поэтому ничего не опасуюсь. Прощайте, благодарю за нежное участие.

Тот же самый господин гораздо позже советовал мне также прервать знакомство с Чавчавадзевыми по поводу довольно глупого дела, в которое отца их вмешали совершенно безвинно; я опять его не послушал и продолжал

видеться с ними. Если это кому приходилось не по душе, то жалею о нем, а не о себе, ибо находил большое удовольствие к ним ездить.

В продолжении всей зимы с тридцать второго на тридцать третий год в Тифлисе много веселились, как веселились в мою бытность в Грузии еще одну только зиму в начале управления генерала Головина, когда его супруга с дочерью и вернувшиеся в город Чавчавадзевы наперерыв старались оживить общество помощью своего неисчерпаемо любезного гостеприимства. В обе зимы нам как будто недоставало времени жить. Обеды в семейных домах сменялись пирами в загородных садах, где под звук тамбурина шемахинских баядерок вокруг стола ходили азарпеш да турий рог, через край переливаясь красною струей кахетинского. Вечера сменялись балами, и почти никогда ими не кончался наш день; чаще всего утренняя заря заставала нас еще у кого-нибудь из товарищей, к которому собирались окончательно израсходовать остаток сил, не истощенных балом. К поддержанию ровного, всегда приятного хода нашей беззаботно веселой жизни много способствовал вежливый, очищенный от неуместных слов и шуток тон, господствовавший тогда в кругу офицеров, собранных в Тифлисе, можно сказать, со всех концов России. В продолжении всего управления барона Розена за исключением двух неприятных случаев, коснувшихся до людей, не принадлежавших собственно к нашему кругу, в штабе его не произошло ни одной скандальной истории, не случилось вызова и почти не было сказано неприятно громкого слова. Было принято за правило во всех собраниях, на холостых обедах и где бы то ни было, тотчас прекращать разговор, если кто-нибудь из присутствующих объявлял, что он его затрагивает неприятным образом; и все общество единодушно останавливало того, кто бы вздумал поступать в противном смысле. Завели и поддерживали этот тон между нами

старшие по летам и по званию, во главе их А. Е. Врангель, о котором я и прежде имел случай упомянуть как о человеке с отлично благородным характером...

Жил я далеко не роскошно с товарищем, князем Чегодаевым, в солдатской слободке, в небольшом домике, который мы нанимали у женатого унтер-офицера. Квартал был не щеголеват, комнаты малы, невысоки, меблированы крайне незатейливо, но зато, проживая как на даче, мы пользовались солнцем и воздухом без всякого стеснения и наших лошадей всегда имели пред глазами, что в Грузии считалось не последним удобством. Маленькая серая бача*, мой неразлучный товарищ, без труда могла приходиться ко мне за хлебом и за сахаром, а бывало, едва раскроешь поутру глаза, а она уже глядит в комнату через низенькое окно. И другими животными, и разною птицей наш двор был не беден; одним словом, в солдатской слободке мы пользовались всеми прелестями буколической жизни, имея притом не далее двухсот шагов от себя город со всеми его приманками...

* Имеретинский иноходец, со стриженною гривой; тип лошадей, встречаемых на древних барельефах.